

В. В. Розанов

**Опавшие листья (Короб
второй)**

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 101
ББК 87

В. В. Розанов

Опавшие листья (Короб второй) / В. В. Розанов – М.: Книга по Требованию, 2011. – 42 с.

ISBN 978-5-458-04053-2

Василий Розанов - один из самых оригинальных русских философов и литературных критиков Серебряного века. Литературный труд был для него образом жизни, способом существования, ежедневным занятием и необходимостью. При этом Розанов никогда не пытался написать ничего собственно "художественного" и создал уникальный жанр - "опавшие листья", сопоставимый разве что с современным "живым журналом". Это отдельные записи мыслей и впечатлений, которые "текут непрерывно". Их последовательность и образует сюжет этой книги

ISBN 978-5-458-04053-2

© Издание на русском языке, оформление, «
YOYO Media», 2011
© Издание на русском языке, оцифровка, «
Книга по Требованию», 2011

Розанов В В
Опавшие листья (Короб
второй)

Василий Васильевич Розанов

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

Короб второй, и последний

Чем старее дерево, тем больше падает с него листьев. Завещаю по "+" моей перепечатывать все аналогичные и продолжающие "Уедин." и "Опав, листья" книги в том непременно виде, как напечатаны они (т. е. с новой страницы каждый новый текст), я, в целях, компактности и, след., ускорения печатания "павших листов", отступаю от прежней формы *, с крайним удручением духа.

"Опав, листья" изд. 1913г. представляет 1/2 или 1/3 того, что записалось за 1912 г., причем печатались они в таком состоянии духа, что я их почти не приводил в порядок хронологически. Так, все помеченное "Клиника Елены Павловны" - относится к октябрю, ноябрю и декабрю месяцам, - и должно быть отнесено в конец издания за этот год. Вообще же печатающееся ныне должно быть как-то "стасовано" ("гасуем карты") с изданным в 1913 году, листок за листом, - и, во всяком случае, не в том порядке и виде, как было издано в 1913 г.

Во 2-м коробе листы лежат в строгом хронологическом порядке, насколько его можно быть восстановить по пометкам и по памяти.

Самая почва "нашего времени" испорчена, отравлена И всякий дурной корень она жадно хватает и произращает из него обильнейшие плоды. А добрый корень умерщвляет.

(смотря на портрет Страхова: почему
из "сочинений Страхова" ничего не вышло
а из "сочинений Михайловского" вышли
школьные учителя, Тверское земство
и множество добросовестно работающих,
а часть только болтающих, лекарей).

* * *

Страшная пустота жизни. О, как она ужасна...

* * *

Теперь в новых печках повернул ручку в одну сторону - труба открыта, повернул в другую сторону - труба закрыта.

Это не благочестиво. Потому что нет разума и заботы.

Прежде возьмешь маленькую вьюшку - и надо ее не склонить ни вправо, ни влево, - и она ляжет разом и приятно. Потом большую вьюшку, - и она покроет ее, как шапка.

Это правильно.

Раз я видел новое жнитво: не мужик, а рабочий сидел в чем-то, ни телега, ни - другое что, ее тянула пара лошадей; колымага колы-

халась, и мужик в ней колыхался. А справа и слева от колымаги, как клешни, вскидывались кверху не то косы, не то грабли. И делали дело, не спорю, - за двенадцать девушек. Только девушки-то эти теперь сидели с молодцами за леском и финтили. И сколько им ни нарабатывает рабочий с клешнями, они все профинтят.

Выйдут замуж - и профинтят мужнее.

Муж, видя, что жена финтит, - завел себе на стороне "зазнобушку".

И повалилось хозяйство.

И повалилась деревня.

А когда деревни повалились - зачернел и город.

Потому что не стало головы, разума и Бога.

* * *

Несут письма, какие-то теософические журналы (не выписываю). Какое-то "Таро"... Куда это? зачем мне? "Прочти и загляни". Да почему я должен во всех вас заглядывать?

* * *

То знание ценно, которое острой иглой прочертило по душе. Вялые знания - бесценны.

(на поданной почтовой квитанции).

* * *

С выпученными глазами и облизывающийся - вот я.

Некрасиво?

Что делать.

* * *

...иногда кажется, что во мне происходит разложение литературы, самого существа ее. И, может быть, это есть мое мировое "emploi". Тут и моя (особая) мораль, и имморальность. И вообще мои дефекты и качества. Иначе нельзя понять. Я ввел в литературу самое мелочное, мимолетное, невидимые движения души, паутинки быта. Но вообразить, что это было возможно потому, что "я захотел", никак нельзя. Сущность гораздо глубже, гораздо лучше, но и гораздо страшнее (для меня): безгранично страшно и грустно. Конечно, не бывало еще примера, и повторение его немислимо в мироздании, чтобы в тот самый миг, как слезы текут и душа разрывается, - я почувствовал неошибающимся ухом слушателя, что они текут литературно, музыкально, "хоть записывай": и ведь только потому я записывал ("Уединенное", - девочка на вокзале*, вентилятор*). Это так чудовищно, что Нерон бы позавидовал; и "простимо" лишь потому, что фатум. Да и про-стимо ли?... Но оставим грехи; таким образом, явно во мне есть какое-то завершение литературы; литера-

турности; ее существа, - как потребности отразить и выразить. Больше что же еще выражать? Паутины, вздохи, последнее уловимое. О, фантазировать, творить еще можно: но ведь суть литературы не в вымысле же, а в потребности сказать сердце. И вот с этой точки я кончаю и кончил. И у меня мелькает странное чувство, что я последний писатель, с которым литература вообще прекратится, кроме хлама, который тоже прекратится скоро. Люди станут просто жить, считая смешным, и ненужным, и отвратительным литераторствовать. От этого, может быть, у меня и сознание какое-то "последнего несчастья", сливающегося в моем чувстве с "я". "Я" это ужасно, гадко, огромно, трагично последней трагедией: ибо в нем как-то диалектически "разломилось и исчезло" колоссальное тысячелетнее "я" литературы.

- Фу, гад! Исчезни и пропади!

Это частое мое чувство. И как тяжело с ним жить.

(дожидаясь очереди пройти исповедоваться).

(1-я гимназия).

Какие добрые бывают (иногда) попы. Иван Павлиньи взял под мышку мою голову и, дотронувшись пальцем до лба, сказал: "Да и что мы можем знать с нашей черепашкой"! (мозгом, разумом, черепом). Я ему сказал разные экивоки и "сомнения" за годы Рел.-Фил. Собраний*. И так сладко было у него поцеловать руку. Исповедовал кратко. Ждут. Служба и доходы. Так "быт" мешается с небесным глаголом, - и не забывая о быте, слушая глагол, а, смотря на быт, вспомни, что ты, однако, слышал и глаголы. Но Слободской глубоко бескорыстен. Спасибо ему. Милый. Милый и умный (очень).

1Занятие, призвание (франц.).

* * *

Есть люди, которые рождаются "ладно" и которые рождаются "не ладно".

Я рожден "не ладно": и от этого такая странная, колючая биография, но довольно любопытная.

"Не ладно" рожденный человек всегда чувствует себя "не в своем месте": вот, именно, как я всегда чувствовал себя.

Противоположность - бабушка (А. А. Руднева). И ее благородная жизнь. Вот кто родился... "ладно". И в бедности, ничтожестве положения - какой непрерывный свет от нее. И польза. От меня, я думаю, никакой "пользы". От меня - "смута".

* * *

Я мог бы наполнить багровыми клубами дыма мир... Но не хочу.

["Люди лунного света" (если бы настаивать);
22 марта 1912г.].

И сгорело бы все... Но не хочу.

Пусть моя могилка будет тиха и "в сторонке".

("Люди лун. св.", тогда же).

* * *

Работа и страдание - вот вся моя жизнь. И утешением - что я видел заботу "друга"* около себя.

Нет: что я видел "друга" в самом себе. "Портретное" превосходило "рабочее". Она еще более меня страдала и еще больше работала.

Когда рука уже висела, - в гневе на недвижность (весна 1912 года), она, остановясь среди комнаты, - несколько раз взмахнула обеими руками: правая делала полный оборот, а левая - поднималась только на небольшую дугу, и со слезами стала выкрикивать, как бы топая на больную руку:

- Работай! Работай! Работай! Работай!

У ней было все лицо в слезах. Я замер. И в восторге, и в жалости.

(левая рука имеет жизнь только в плече и локте).

* * *

"Ты тронь кожу его"*, - искушал Сатана Господа об Иове...

Эта "кожа" есть у всякого, у всех, но только она неодинаковая. У писателей таких великодушных и готовых "умереть за человека" (человечество), вы попробуйте задеть их авторство, сказав: "Плохо пишете, господа, и скучно вас читать", - и они с вас кожу сдерут. Филантропы, кажется, очень не любят "отчета о деньгах". Что касается "духовного лица", то оно, конечно, "все в благодати": но вы затроньте его со стороны "рубля" и наград - к празднику - "палицей", крестом или камилавкой*: и "лицо" начнет так ругаться, как бы русские никогда не были крещены при Владимире...

(получив письмо попа Альбова).

Ну, а у тебя, Вас. Вас., где "кожа"?

Сейчас не приходит на ум, но, конечно, - есть.

Поразительно, что у "друга" и Устьинского* нет "кожи". У "друга" наверное, у Устьинского - кажется наверное. Я никогда не видел "друга" оскорбившимся и в ответ разгневанным (в этом все дело, об этом Сатана и говорил). Восхитительное в нем - полная и спокойная гордость, молчаливая, и которая ни разу не сжалась и, разогнувшись пружиной, ответила бы ударом (в этом дело). Когда ее теснят - она посторонится; когда нагло смотрят на нее - она отхо-

дит в сторону, отступает. Она никогда не поспорила, "кому сойти с тротуара", кому стать "на коврик"*, - всегда и первая уступая каждому, до зова, до спора. Но вот прелесть: когда она отступала - она всегда была царицею, а кто "вступал на коврик" - был и казался в этот миг "так себе". Кто учил?

Врожденное.

Прелесть манер и поведения - всегда врожденное. Этому нельзя научить и выучиться. "В моей походке - душа", К сожалению, у меня, кажется, преотвратительная походка.

* * *

Цензор только тогда начинает "понимать", когда его Краев-ский с Некрасовым кормят обедом. Тогда у него начинается пищеварение, и он догадывается, что "Щедрина надо пропустить".

Один 40-ка лет сказал мне (57 л.): - "Мы понимаем все, что и вы". Да, у них "диплом от Скабичевского" (кончил университет). Что же я скажу ему? - "Да, я тоже учился только в университете, и дальше некуда было пойти". Но печальна была бы образованность, если бы дальше нас и цензорам некуда было "ходить".

Они грубы, глупы и толстокожи. Ничего не поделаешь.

Из цензоров был литературен один - Мих. П. Соловьев. Но на него заорали Щедрины: "Он нас не пропускает! Он консерватор". Для всей печати "в цензора" желателен один Балалайкин*, человек ловкий, обходительный и либеральный. Уж при нем-то литература процветет.

(арестовали "Уедин." по распоряжению петроградск. цензуры*).

* * *

Почему я издал "Уедин."? Нужно. Там были и побочные цели (главная и ясная - соединение с "другом"). Но и еще сверх этого, слепое, неодолимое

НУЖНО.

Точно потянуло чем-то, когда я почти автоматически начал нумеровать листочки и отправил в типографию.

* * *

Да, "эготизм": но чего это стоило!

Отсюда и "Уед." как попытка выйти из-за ужасной "занавески", из-за которой не то чтобы я не хотел, но не мог выйти...

Это не физическая стена, а духовная, - о, как страшной физической.

Отсюда же и привязанность или, вернее, какая-то таинственная зависимость моя от "друга"... В которой одной я сыскал что-то

нужное мне... Тогда как суть "стены" заключается в "не нужен я" - "не нужно мне"... Вот это "не нужно" до того ужасно, плачевно, рыдательно, это такая метафизическая пустота, в которой невозможно жить: где, как в углекислоте, "все задыхается".

И, между тем, во мне есть "дыханье". "Друг" и дал мне возможность дыхания. А "Уед." есть усилие расширить дыхание, и прорваться к люд., кот. я искренне и глубоко люблю.

Люблю, а не чувствую. Ловлю - но воздух. И как будто хочу сказать слово, а пустота не отражает звука.

Ведь я никогда не умел себе представить читателя (совет Страхова*). Знал - читают. И как будто не читают. И "не читают", "не читает ни один человек" - живее и действительнее, чем что читают многие.

И тороплюсь издавать. Считаю деньги. Значит, знаю, что "читают": но момент, что-то перестроилось перед глазами, перед мыслью, и - "не читают" и "ничего вообще нет". Как будто глаз мой (дух) на уровне с доской стола. И стол - тоненький лист. Дрогнуло: и мне открыто под столом - вовсе другое, нежели на столе. Зрение переместилось на миллиметр. "На столе" - наша жизнь, "читают", "хлопочу"; "под столом" - ничего вообще нет или совсем другой вид.

* * *

Любить - значит "не могу без тебя быть", "мне тяжело без тебя"; "везде скучно, где не ты".

Это внешнее описание, но самое точное.

Любовь вовсе не огонь (часто определяют), любовь - воздух. Без нее нет дыхания, а при ней "дышится легко".

Вот и все.

* * *

Печальны и запутанны наши общественные и исторические дела... Всегда передо мною гипсовая маска покойного нашего философа и критика, Н. Н. Страхова, - снятая с него в гробу. И когда я взглядываю на это лицо человека, прошедшего в жизни нашей какою-то тенью, а не реальностью, только от того одного, что он не шумел, не кричал, не агитировал, не обличал, а сидел тихо и тихо писал книги, - у меня душа мутится... Судьба Константина Леонтьева и Говорухи-Отрока...

Да и сколько таких. Поистине прогресс наш может быть встречен словами: "Morituri te salutant" 1 - из уст философов поэтов, одиночек-мыслителей. "Прогресс наш" совершился при "непременном требовании", - как говорится в полицейских требованиях и распоряжени-

ях, - чтобы были убраны "с глаз долой" все люди с задумчивостью, пытливостью, с оглядкой на себя и обстоятельства.

С старой любовью к старой родине...

Боже! если бы стотысячная, пожалуй, даже миллионная толпа "читающих" теперь людей в России с таким же вниманием, жаром, страстью прочитала и продумала из страницы в страницу Толстого и Достоевского, - задумалась бы над каждым их рассуждением и каждым художественным штрихом, - как это она сделала с каждой страницей Горького и Л. Андреева, то общество наше выросло бы уже теперь в страшно серьезную величину. Ибо даже без всякого школьного учения, без знания географии и истории, - просто "передумать" только Толстого и Достоевского - значит стать как бы Сократом по уму, или Эпиктетом, или М. Аврелием, - люди тоже не очень "знавшие географию" и "не кончившие курса в гимназии".

Вся Греция и Рим питались только литературой: школ, в нашем смысле, вовсе не было! И как возросли. Литература, собственно, есть естественная школа народа, и она может быть единственною и достаточною школою... Но, конечно, при условии, что весь народ читает "Войну и мир", а "Мальву" и "Трое" Горького читают только специалисты-любители.

И это было бы, конечно, если бы критика, печать так же "задыхались от волнения" при появлении каждой новой главы "Карениной" и "Войны и мира", как они буквально задыхались и продолжают задыхаться при появлении каждой "вещи" в 40 страничек Леонида Андреева и М. Горького.

Одно это неравенство весов отодвинуло на сто лет назад русское духовное развитие, - как бы вдруг в гимназиях были срезаны старшие классы, и оставлены одни младшие, одна прогимназия.

Но откуда это? почему?

Как же: и Л. Андреев, и М. Горький были "прогрессивные писатели", а Достоевский и Толстой - русские одиночки-гении. "Гений - это так мало"...

Достоевский, видевший все это "сложение обстоятельств", желчно написал строки:

"И вот, в XXI столетии*, - при всеобщем реве ликующей толпы, блузник с сапожным ножом в руке поднимается по лестнице к чудному Лику Сикстинской Мадонны: и раздерет этот Лик во имя всеобщего равенства и братства"... "Не надо гениев: ибо это - аристократия". Сам Достоевский был бедняк и демократ: и в этих словах, отнесенных к будущему торжеству "равенства и братства", он сказал за век или за два "отходную" будущему торжеству этого строя.

1 Обреченные на смерть тебя приветствуют* (лат.).

* * *

Чего я совершенно не умею представить себе - это чтобы он запел песню или сочинил хоть в две строчки стихотворение.

В нем совершенно не было певческого, музыкального начала. Душа его была совершенно без музыки.

И в то же время он был весь шум, гам. Но без нот, без темпов и мелодии.

Базар. Целый базар в одном человеке. Вот - Герцен. Оттого так много написал: но ни над одной страницей не впадет в задумчивость читатель, не заплачет девушка. Не заплачет, не замечается и даже не вздохнет. Как это бедно. Герцен и богач, и бедняк.

* * *

"Я до времени не беспокоил ваше благородие, по тому самому, что мне хотелось накрыть их тепленькими".

Этот фольклор мне нравится.

Я думаю, в воровском и в полицейском языке есть нечто художественное.

Сюда Далю не мешало бы заглянуть.

(на процессе Бутурлина* мелкий чиновник, выслеживавший в подражание Шерлоку Холмсу Обриена-де-Ласси и Панченко).

* * *

Вся "цивилизация XIX-го века" есть медленное, неодолимое и, наконец, восторжествовавшее просачивание всюду кабака.

Кабак просочился в политику - это "европейские (не английский) парламенты".

Кабак прошел в книгопечатание. Ведь до XIX-го века газет почти не было (было кое-что), а была только литература. К концу XIX века газеты заняли господствующее положение в печати, а литература - почти исчезла.

Кабак просочился в "милое хозяйство", в "свое угодье". Это - банк, министерство финансов и социализм.

Кабак просочился в труд: это фабрика и техника.

Раз я видел работу "жатвенной машины". И подумал: тут нет Бога.

Бога вообще в "кабаке" нет. И сущность XIX-го века заключается в оставлении Богом человека.

* * *

Измайлов* (критик) не верит, будто я "не читал Щедрина".